

Флейворист

Все не так, как видится



Виктор Чепенко

Виктор Чепенко

Флейворист

<https://litres.ru/74623172>

SelfPub; 2026

Аннотация

Нос у Алексея работает лучше, чем кошелёк. Он приезжает покорять столицу студентом, с минимальным бюджетом и предельно обострённым обонянием, и быстро понимает: метро — не просто транспорт, а испытание на прочность. Советское детство у парфюмерной фабрики, духота плацкартных вагонов девяностых и бесконечный поток понаехавших становятся фоном для города, где каждый вдох — маленькое открытие. В вагоне метро рядом с Алексеем садится человек, который читает его мысли по одному выражению лица. Он роняет фразу о том, что запахи бывают у тел, у мыслей, и у тех, кого вообще не видно, — и выходит на следующей станции. До этой встречи Алексей был просто наблюдателем, переживающим переезд в Москву и кризис 2008 года. Кто этот незнакомец и откуда он знает про обоняние Алексея так много? Случайна ли эта встреча — или подземка давно к нему присматривается? И главное, что откроется человеку, если продолжить принимать к городу, в котором, оказывается, пахнет даже то, чего не видно?

Содержание

Глава	4
Глава 1. Наши ароматы	5
Глава 2. «Наблюдения нюхача»	15
Глава 3. Кризис и запах денег	23
Глава 4. Незнакомец в вагоне	32
Глава 5. Уроки нюха	44
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Флейворист

Глава

Все события, описанные в книге, вымышленные.

Возможные совпадения имен и фамилий персонажей книги с реальными людьми случайны.

Глава 1. Наши ароматы

Знаешь, есть странное удовольствие — вспоминать духоту. Не переживать её, боже упаси, а именно вспоминать: си-дишь себе в прохладной комнате, за окном шелестит листва, тянет дождём, и вдруг память услужливо подкидывает: «А помнишь, как в плацкарте было?» И ты улыбаешься, потому что теперь это уже не духота, а ностальгия.

Плацкорт в девяностых — это был особый жанр. Лето, юг, вагон, набитый людьми так плотно, что казалось, будто инженеры проектировали его с расчётом «ещё десять человек точно влезут». И запахи... О, эти запахи! Они были громче любых слов. Варёные яйца, чеснок в бумаге, жареная курица, которая к третьему дню пути начинала смотреть на тебя с укором. Плюс «Шипр» в попытке победить реальность, мужские носки, которые могли бы претендовать на звание отдельного культурного феномена, и тихий, обстоятельный перегар — как фоновая музыка эпохи.

Мне в шестнадцать лет казалось верхом независимости карабкаться на верхнюю полку. Там, под решёткой в потолке, можно было притворяться, что у тебя есть личное пространство. Под струёй горячего воздуха, который гоняли туда-сюда без всякой пользы, я лежал и утешал себя: «Зато я выше всех». Снизу долетали голоса, плач ребёнка и ароматы, достойные отдельной энциклопедии. И я их фиксировал —

не из любви к этнографии, а просто потому, что нос отказывался делать вид, что ничего не происходит.

А за окном тянулись степи, пригороды, и, наконец, сам город Николаев. И над приземистым зданием фабрики — тот самый плакат: «Набор духов „Наши ароматы“». Я тогда тихо рассмеялся. В этом была какая-то особая ирония: фабрика, которая производит ароматы для народа, прямо напротив вагона, где эти ароматы уже и так собраны в полном комплекте. «Наши» — и правда наши. Без прикрас.

Детство вообще пахло очень конкретно. Хлорка в подъезде — тётя Нина мыла каждую пятницу так основательно, что запах держался до следующей среды и, кажется, въелся в само понятие «дом». Карболка в поликлинике — густая, серьёзная, будто сообщала: «Здесь всё под контролем, микробы уничтожены». И типографская краска в новых учебниках — горьковатая, с оттенком будущего: вот эти страницы ещё не читаны, вот эти задачи не решены. Три кита моего детства: хлорка, карболка, типографская краска. Историки пусть пишут про пятилетки и съезды, а я помню именно это.

Ещё были «Шипр» деда и «Красная Москва» бабушки. Дед верил, что хорошо пахнуть — значит уважать окружающих и начальство, и поливался «Шипром» с военной основательностью. Бабушка берегла «Красную Москву» для праздников — и в этом была особая торжественность: духи не для будней, а для моментов, когда жизнь чуть приподнималась над рутинной.

Потом пришли девяностые, и запахи стали меняться. Появился польский шампунь с такой интенсивной «цветочностью», что голова слегка ныла уже через минуту. Турецкие духи в блестящих флаконах, будто созданные не для того, чтобы пахнуть, а чтобы ослеплять. Жвачка с искусственной клубникой — и этот синтетический аромат вдруг стал запахом свободы: яркой, немного нелепой, но такой желанной.

И вот едешь снова в плацкарте, тебе семнадцать лет, и за окном опять Николаев, и тот же плакат, только буква «а» подкрашена чуть другим оттенком. Напротив — командировочный, от которого веет вчерашним вечером и попыткой это скрыть с помощью цветочного одеколona. Рядом женщина с авоськами, из которых пахнет салом — настоящим, домашним, с чесноком и перцем. На верхней полке — солдат, от него тянет казармой, гуталином и долгой дорогой.

Командировочный достаёт варёные яйца — и воздух в купе меняется мгновенно, будто яйцо дало официальное разрешение на старт новой фазы путешествия. Женщина молча отрезает кусок сала и предлагает — не словами, а жестом, который в плацкарте понимают все. Солдат, делая вид, что спит, но потом всё-таки спускается. Запах становится сложнее, гуще, как-то теплее. Не потому, что приятнее, а потому что в нём появляется что-то человеческое.

Я лежу наверху и думаю: запах не умеет притворяться. Лицо можно сделать серьёзным, голос — уверенным, взгляд — многозначительным. А запах скажет правду: командировоч-

ный вчера выпил, женщина бережёт сало, солдат устал и хочет помыться. И ничего с этим не поделать.

Позже я прочёл «Парфюмера» — кто-то забыл журнал в общаге, рядом с пустой бутылкой кефира и чужими конспектами. Гренуй меня зацепил не маниакальностью, а тем, что он видел мир носом — раньше глаз, раньше слов. Я не был гением и уж точно не собирался никого убивать ради аромата. Но что-то в этом было моё: способность считывать жизнь через запахи, пусть и без всякой изящности, зато без купюр.

Гренуй охотился за квинтэссенцией красоты. Я же в лучшем случае мог определить, что сосед ел на завтрак и давно ли был дома. Разные весовые категории, что тут скажешь. Но направление у нас было одно.

А «Наши ароматы» так и остались для меня чем-то большим, чем просто название парфюмерного набора. Это про нас — про коллективный запах эпохи, где сало в газете и командировочные рубли были такой же частью портрета времени, как лозунги и плакаты.

Память работает через запах лучше, чем через всё остальное. Иногда одна молекула — и ты снова восьмилетний, стоишь в подъезде и чувствуешь хлорку, и весь мир кажется простым и понятным.

Так что да, вспоминать духоту приятно. Потому что теперь ты сидишь у открытого окна, а духота осталась там — в плакате, в девятиностях, в том самом плакате над фабрикой, который будто подмигивал: «Ну что, узнал себя?» Узнал. И

даже улыбнулся.

В нулевых Москва встретила меня запахом солярки и... ну, скажем так, запахом больших надежд — они тогда пахли почти как большие деньги. Год не вспомню, но было это в начале апреля — время, когда город ещё не решил, весна уже пришла или всё-таки можно ещё поворчать.

Я вышел из Курского вокзала с двумя сумками и лицом, которое выдавало провинциала надёжнее любого паспорта. Не растерянность — её-то как раз можно спрятать за деловитой походкой. У меня было то самое выражение, которое в народе зовется «открытый рот»: будто мозг сказал «стоп, я не успеваю» и ушёл на перезагрузку.

Площадь перед вокзалом гудела так, словно сразу пять оркестров репетировали каждый своё, а дирижёра забыли позвать. Маршрутки, такси, голоса на разных языках, кто-то орал в телефон про накладную... А на бордюре сидел голубь — с видом человека, который давно всё понял и теперь просто экономит силы.

Я поставил сумки, размял руки и попытался сориентироваться. В родном городе весна пахла рекой, тиной, тёплым илом и цветущей акацией — таким приторно-чистым запахом, который можно понять, только если вырос рядом. А здесь весна пахла мокрым асфальтом, выхлопом и городской пылью, которая ещё не стала летней, а была просто грязью в процессе эволюции. И ещё — торопливостью. Будто сам воздух шептал: «Время стоит дорого, не стой».

А я стоял. Толпа обтекала меня, как вода — не замечая, не задерживая взгляда. В провинции на чужака смотрят: хоть с любопытством, хоть косо, но смотрят. Здесь смотрели сквозь. Я был не человеком, а элементом декора: сумки, куртка, растерянное лицо — типовой комплект «понаехавший, версия базовая».

Одна женщина задела мою сумку плечом, не обернувшись, не извинилась, даже шагу не сбавила. «У неё дела», — подумал я и тут же решил, что у меня тоже должны быть дела. Дела у меня были: добраться до общежития. Адрес был в телефоне, телефон — в кармане, куртка — на мне. Всё сходилось, кроме одного: я понятия не имел, как туда ехать.

Таксисты уже смотрели на меня с профессиональным интересом — тот взгляд, который безошибочно вычисляет человека с сумками и без плана. Один даже приоткрыл окно, явно готовясь озвучить сумму, от которой у меня бы сердце ушло в пятки, а стипендия — в минус. Автобус? Теоретически да, но для этого нужно было понимать маршрутную сетку, а моя карта Москвы в тот момент умещалась в одну строчку: «Где-то тут метро».

И я пошёл на знак «М» — с тем же энтузиазмом, с каким идут к зубному: не хочется, но надо. Москва без метро — как Венеция без каналов, только менее романтично и с более запутанной схемой пересадок.

Эскалатор уносил вниз, прямоугольник вестибюля наверху становился всё меньше, а потом и вовсе исчез. Осталась

только труба, уходящая в землю, лампы вдоль неё и тёплый, чуть влажный воздух, который поднимался снизу. Этот воздух я запомнил сразу: он пах землёй, смазкой, металлом, резиной и... людьми. Десятки тысяч людей, прошедших здесь до меня, оставили свой след не в книге отзывов, а прямо в атмосфере. Вентиляция, видимо, не справлялась с таким объёмом воспоминаний.

На платформе я пытался не задевать соседей, но это было физически невозможно. Личная дистанция в московском метро — привилегия владельцев личных самолётов. Поезд пришёл, толпа качнулась и втянула меня внутрь.

В вагоне я оказался зажат с трёх сторон. Слева — мужчина, от которого веяло вчерашним вечером и фруктовой жвачкой (будто он пытался замаскировать прошлое, но оно всё равно выглядывало из-за спины). Справа — женщина в пальто, от неё пахло духами так настойчиво, словно она решила занять ароматом то пространство, которое не смогла занять физически. Впереди кто-то ел лук, позади кто-то не мылся... В общем, стандартный московский коктейль: бетон, эмоции и немного драмы.

Невольно я начал разбирать этот букет — почти помимо воли. Перегар с фруктовой нотой, духи в стиле «я здесь главная», запах усталого труда, сладковатый оттенок детского талька из чьей-то коляски... Нос работал как натренированная ищейка, будто обиделся, что столько лет я его игнорировал.

Вспомнился «Парфюмер» Зюскинда, который я недавно дочитал. Гренуй видел мир через запахи, а я вдруг поймал себя на мысли, что, может, и мне стоило раньше прислушаться к своему носу. Люди умеют притворяться лицом, голосом, одеждой — запах не умеет. Он честный.

Поезд тормозил, двери открывались, запахи менялись, как ингредиенты в супе. Я держался за поручень и думал: «Ничего, привыкну». Хотя в тот момент это звучало как обещание, в которое я сам не очень верил.

Поселили меня в общежитии на Щёлковской — в комнате-пенале два на три метра, с окном, выходящим на кирпичную стену соседнего корпуса. На столешнице красовалась засохшая клякса от ручки, отдалённо напоминавшая Апеннинский полуостров, а на стене висел одинокий гвоздик — без картины, зато с богатой историей.

Первую ночь я почти не спал: из-за стены доносилось грузинское уханье, запах жареного лука и смех, громкий и чужой, как радио у соседей. На кухне царил настоящий Вавилон: специи, языки, кастрюли, споры о том, чья очередь мыть плиту... Я молча кипятил чай, ел хлеб с маслом и наблюдал, как запахи и звуки сливаются в один сплошной гул.

Москва быстро расставляла всех по негласным рангам. Наверху — амбициозные провинциалы в деловых костюмах, уверенные, что уже победили. Ниже — студенты вроде меня: живём в общеаге, считаем копейки и учимся сохранять достоинство даже тогда, когда на рюкзак наступают. Ещё ни-

же — те, кто держит город на плечах: строители, дворники, разнорабочие. В метро их узнавали не по одежде, а по особому виду тотальной усталости — она буквально давила на плечи, как тяжёлый рюкзак.

А я всё нюхал. И постепенно понял: мой нос всё это время вёл параллельное расследование и составлял свою картину мира — куда точнее зрительной. И вот однажды между станциями я уловил странный запах — холодный, чуть сладковатый, без видимого источника. Он будто просачивался сквозь остальные ароматы, как тихий секрет, который никто не хочет выдавать. Я огляделся — никто не выглядел подозрительно. Поезд тормознул, двери открылись, и запах исчез, будто его и не было.

«Усталость», — решил я. Но ощущение не уходило. Нос, как выяснилось, не любил недосказанностей.

Вечером метро дышало иначе: утренняя паника сменялась вечерней усталостью. Запахи становились откровеннее: еда пахла сильнее, пот — правдивее, духи к вечеру будто сбрасывали маску и показывали своё истинное лицо.

Я ехал и думал, что московское метро — это самая откровенная социальная сеть. Тут не притвориться бодрым, стильным или хотя бы выспавшимся. У всех один воздух на всех — общий, непридуманный, неустрашимый. «Наши ароматы», — вспомнилось мне название с рекламного щита парфюмерной фабрики. И в тот момент оно показалось не иронией, а чистой правдой.

Моя станция. Я вышел, стараясь не вдыхать слишком глубоко — вдруг опять что-нибудь разгадаю.

Глава 2. «Наблюдения нюхача»

Утро на «Щёлковской» начиналось не со света (какой там свет в апреле в 7:15!), а с запаха — и это был не кофе, а фирменный «букет» метро, собранный за ночь и торжественно вручённый пассажирам на рассвете.

Толпа на платформе стояла плотно, как селёдки, если бы они могли стоять и которые уже смирились со своей судьбой. Двери открылись — и из вагона пахло тёплым, спрессованным за ночь воздухом. Мы дружно вдохнули и втиснулись внутрь, будто участвовали в мрачном ритуале обмена: свой свежий воздух — на вагонную классику.

В Москве существует особый университет — университет втискивания. Его не найти на картах, но ты его проходишь в первую неделю: учишься занимать ровно столько места, сколько тебе позволят, и при этом сохранять хотя бы видимость достоинства. А достоинство в час пик начинается с отключения обоняния — потому что именно ему достаётся всё самое интересное.

Как всегда, по привычке я раскладывал вагон на составляющие — как ребёнок конфеты по цветам, только у меня вместо конфет были запахи. Слева — перегар, упрямый, как квартирант, который не платит и не съезжает. Справа — рубашка, явно дружившая с луком. Ближе к дверям — одеколон, вылитый щедро: человек будто решил: «Теперь я

имею право пахнуть громко». Рядом — хлорка с тем самым больничным привкусом, который в детстве ассоциировался с очередью к зубному. А ещё — промышленная резина: запах, который не врёт и выдаёт всю биографию владельца с потрохами.

Метро казалось фабрикой ароматов: сырьё — люди, продукция — воздух, которым потом дышит следующая партия пассажиров. Я вёл свой личный обонятельный атлас: «Щёлковская» — перегар и лёгкая грусть окраины; «Первомайская» — почти то же самое, но чуть слабее, будто здесь ещё теплится надежда; «Измайловская» — сырость парка и прелея листва, будто сам лес просачивается под землю.

Полцарства бы отдал, чтобы кто-нибудь подтвердил: я не единственный сумасшедший, который в час пик сортирует толпу по запаху, точно кладовщик гвозди по калибру.

На «Курской» среди толкотни меня коснулся тот самый запах — холодный, чуть сладковатый, без всякого носителя рядом. Будто ждал у колонны, точно зная мой маршрут. Мысль была настолько нелепой, что я усмехнулся вслух — и тут же поймал подозрительный взгляд женщины в пуховике: типичный московский взгляд для тех, кто разговаривает сам с собой.

«Духота, апрель, толпа, — сказал я себе. — Мало ли отчего может померещиться запах там, где его нет». Потёр переносицу, будто это могло стереть ощущение, и пошёл дальше. Слово «не думать об этом» я нарушил примерно так же

неотвратимо, как люди нарушают обещание бросить курить с понедельника. Но хотя бы запомнил место: колонна у выхода с «Курской», без пяти восемь. Мало ли что пригодится.

Днём оказался в метро в редкое затишье: вагоны полупустые, можно даже сесть и дышать своим воздухом. На «Электровозовской» (или на «Семёновской» — я их вечно путаю, эти станции-близнецы похожи, как два отражения в кривом зеркале) в вагон зашёл человек, чей запах требовал вдумчивого подхода — как археолог снимает слои земли, чтобы добраться до древней монеты. Первым шёл застарелый пот, уже не гость, а полноправный жилец ткани. Дальше — подвальная сырость, будто он всю зиму ночевал среди труб теплотрассы. А поверх всего этого тонким слоем лежала едва уловимая нотка изысканного табака — видимо, из окурков, подобранных у дорогих отелей.

Этот букет был его летописью: вокзальная скамейка, чердак, теплотрасса. «Архив улицы», — гордо подумал я про себя, будто изобрёл гениальную метафору. Нос при этом косился в сторону форточки, но оторваться не мог — как от документального фильма про племя, которое жалко, жутко, а смотреть не перестаёшь.

Вечером ехал по делам, суть которых растворилась в памяти без следа, зато вагон запомнился до мелочей: в нём ехала бригада строителей. От них пахло бетоном, кирпичом, утеплителем, краской и усталостью — той самой, кисловатой, придавленной, без всякого лоска: так пахнет человек,

отработавший двенадцать часов подряд.

А на следующий день в пределах Садового кольца случилась дама в норковой шубе — неуместной для апрельского тепла, но шуба тут была не про тепло, а про статус. Её парфюм вошёл в вагон раньше неё самой — густой, сладкий, с перевесом ванили и мускуса. Он забивал собой все остальные ароматы подземки. Люди невольно расступались — не из вежливости, а из инстинкта самосохранения. Дама шла с прямой спиной, будто ехала не в метро, а в личном лимузине, который просто временно застрял в туннеле.

Я поймал себя на мысли, что это, пожалуй, самое откровенное, что я видел за день. Она не притворялась скромной пассажиркой. Она несла свой герб, написанный не на щите, а в молекулах, и каждый рядом читал его без перевода: «Дорого. Безоглядно. Напоказ».

И тут у меня сложилось железное правило: в метро масок нет. Костюм можно купить в кредит, речь — отшлифовать умными словами, а вот запах подделать сложно. Он остаётся с человеком, как отпечаток пальца, только не на бумаге, а в воздухе. Метро спрессовывает всех в одном вагоне и срывает верхние слои приличий, оставляя только эту голую правду.

Вернувшись в общагу, я погрузился в привычный вечерний букет: жареная картошка из кухни, чьё-то несвежее бельё из соседней комнаты и запах дезинфекции в вымытом коридоре. Не садясь за конспекты, достал блокнот и вывел на первой странице: «Наблюдения нюхача». И понеслось.

С тех пор ежедневные наблюдения и вечерние записи стали нормой. Каталог разрастался сам, как молодая травка по весне. И однажды меня посетила прекрасная мысль: а вдруг это сами запахи хотят, чтобы их наконец кто-нибудь заметил? С этой утешительной идеей я и заснул до утра.

Ближе к полуночи ехал домой после лекций. Вагон уже не был набитой консервной банкой — пассажиры стояли и сидели с такими интервалами, будто кто-то заранее расчертил вагон на «зоны личного пространства». Социальная дистанция до того, как это стало мейнстримом.

Сидя у окна, я вдруг поймал себя на странном: нос теперь работал быстрее головы. Ещё до того, как я успевал поднять глаза, он уже выдавал досье: парень в углу — три пива и сигарета «Ява»; женщина напротив — крем с ромашкой, мозоли на пальцах; ещё один пассажир — «вчерашний борщ плюс валокордин». Обоняние обогнало зрение, и от этого было слегка не по себе — как когда пальцы сами набирают номер, а голова только потом вспоминает: «А, ну да, это же тётя Зина».

«После Зюскинда все с ума сходят», — пробормотал я почти вслух. Мысль казалась спасительно остроумной: не мистика, а побочный эффект чтения. Это как после Достоевского коситься на всех с подозрением, а после Булгакова нервно оглядываться на чёрных котов. Пройдёт. Само рассосётся.

Только ирония на этот раз не сработала. Тревога сидела

под рёбрами, тихая, вежливая, но настойчивая — как сосед, который стучит в дверь, точно зная, что ты дома.

И тут я снова его почувствовал — тот самый холодный, чуть сладковатый запах, знакомый ещё с «Курской». Только теперь он был гуще, будто за день настоялся, как крепкий чай. Он не был похож ни на парфюм, ни на освежитель. Даже на запах морозилки не был похож, хотя ближе всего стоял именно к нему: холод без холода, сладость без сахара — будто мороженое таяло не от тепла, а от чего-то прямо противоположного.

Запах тянулся ровно и упрямо, будто кто-то держал невидимую форточку открытой прямо у меня за плечом. Я невольно повернул голову. В том углу вагона было пусто. Со всем. Ни парня с пивом, ни женщины с ромашковым кремом, ни даже бабушки с рассадой. Пустое сиденье, пустой поручень, пустой квадрат линолеума — и запах, который шёл именно оттуда, будто источник существовал, но по каким-то своим особым правилам, не оставляющим вмятин на дерматине.

Я привстал, вытянул шею, обшарил взглядом угол: вдруг там забытая сумка, разбитый флакон — хоть что-то материальное, за что можно зацепиться логикой. Ничего. Только запах, спокойный и невозмутимый, будто ему было абсолютно всё равно, что я его не могу объяснить.

Где-то впереди скрипнуло колесо — тонко, противно, с той особой требовательностью несмазанного металла, кото-

рая заставляет поморщиться даже бывалого пассажира. Свет мигнул, погас на долю секунды и зажегся снова, чуть тусклее, будто само электричество на секунду задумалось: «А стоит ли вообще освещать эту сцену?»

Свет выправился. Скрип утих. А запах остался.

До «Щёлковской» оставалось три станции. Все три я просидел, уставившись на пустой угол, как конвоир на место преступления: вдруг преступник вернётся и сядет именно туда. Запах то слабел, то густел, будто кто-то невидимый то приближался, то отступал. И в какой-то момент меня накрыла совершенно абсурдная мысль: «Тебе чего надо-то?» Мысль была настолько нелепой, что я чуть не рассмеялся вслух. Хорошо, вагон был почти пуст — а то бы меня точно записали в сумасшедшие, беседующие с воздухом.

Когда двери наконец разъехались, я вышел на перрон с тем самым чувством, будто только что выслушал длинную, запутанную речь, где ты не понял половины слов, но точно знаешь: тебе сказали что-то важное.

На эскалаторе я ехал мимо рекламных щитов, обещавших сладкую жизнь «если...», и вдруг понял: это уже не я коллекционирую запахи ради потехи. Это запахи потихоньку препарируют меня, аккуратно подшивают к делу мои реакции, будто ведут на меня досье.

На улице пахло весенней сыростью, прелой листвой из-под голых кустов и слабым дымком от чьей-то сигареты. Обычные, человеческие, вменяемые запахи. Я втянул их с

благодарностью — как вдыхают свежий воздух после долгого сидения в непроветренной комнате.

Глава 3. Кризис и запах денег

На «Щёлковской» я спускался в метро столько раз, что мог бы пройти этот путь с завязанными глазами — ориентировался бы по запахам, как слепец с тростью, только вместо трости у меня был нос-радар. Гул эскалатора, сквозняк с нотками смазки и чего-то мышинового из тоннеля — всё родное, все привычное.

Однако тем октябрьским утром что-то неожиданно царапнуло, будто соринка в глазу. Сперва списал на осеннюю хандру. Весна пахла влажно и остро, а теперь в переходах витала сухая прелость — будто кто-то принёс охапку палых листьев и забыл вынести. «Сезонная смена ароматов, — успокоил я себя. — Всё норм».

Спустился на платформу, огляделся и поймал себя на том, что разглядываю толпу, будто читаю газету, где вместо букв — люди. И тут до меня дошло: шубы сдали позиции. Весной дамы в крашенных норках проплывали по перрону, как ледоколы среди болоньевых курток, а теперь пальто стали скромнее, будто их специально притушили, чтобы не привлекать внимания. Даже мужчина у края платформы держал не солидный дипломат, а пластиковый пакет из супермаркета — и сжимал его так бережно, будто там не бутерброды, а государственная тайна.

Привычно втянул воздух одним долгим вдохом — мой

фирменный метод «ароматической разведки». Обычно тут был целый букет: перегар, щедро распылённая парфюмерия (будто кто-то пытался заглушить весь мир одним пшиком), хлорка и лёгкий металлический привкус рельсов. А в тот день к привычному ассортименту добавилась новая нотка — тонкая, но неприятно кислая, похожая на запах несвежего молока. И исходила она не от вещей, а от самих людей: от ладоней, сжимавших поручни чуть крепче, чем нужно, от кожи, от нервов.

«Коллективный страх с ароматом прокисшего молока, — мелькнуло в голове. — Отличная строчка для стихов... если бы я их писал». А так пришлось просто стоять и вдыхать эту социальную атмосферу.

Двери сомкнулись с тем самым стеклянным всхлипом. В апреле я бы записал его как «звук вселенского равнодушия», а теперь он звучал дёргано, будто двери нервничали. Вагон повизгивал и явно не горел желанием везти нас в это неопределённое будущее.

Прямо напротив меня вцепился в баул с надписью «Ашан» человек в клетчатой куртке. От него тянуло хозяйственным мылом, дешёвой штукатуркой и подгоревшей кашей, а поверх этого букета витала новая нотка — жжёная бумага, слегка сладковатая, но с горечью. «Так пахнут сгоревшие деньги», — мелькнуло у меня в голове. Хотя, честно говоря, я их никогда не поджигал и даже не знал, законно ли это. Но воображение, как всегда, достроило картину: где-то

в конверте под подушкой копились сбережения, потом курс дёрнулся — и они истлели, как бумага в огне.

Рядом стоял мужчина в костюме — явный обитатель Тверской, а не ближайшего масс-маркета. Только воротник рубашки, прежде идеально белый, теперь чуть посерел, будто его гладили в спешке. А поверх дорогого древесного одеколона с бергамотом витал тот самый «пот тревоги» — запах человека, который вчера узнал, что его отдел сокращают на треть, и теперь гадает: попадёт он в эти тридцать процентов или останется в спасительных семидесяти.

Глядя на него, я вдруг сформулировал для себя нехитрое правило: самодовольство пахнет сладко и плотно, будто карамель, растопленная на солнце, а страх — кисло и пусто, как выдохшееся вино, из которого улетучился весь букет, оставив только уксусную оболочку. Мысль показалась настолько складной, что я потянулся за блокнотом — будто не наблюдения записывать, а афоризмы для календаря.

Вытащил свой верный блокнот в клеёнчатой обложке, раскрыл на середине — и замер. Страница была исписана мелким, торопливым почерком, чем-то похожим на мой, но не совсем: буквы «д» стояли острые, как штык, а у меня они всегда закруглённые, почти кокетливые. Я не помнил, чтобы писал этот абзац. Там было что-то про «запах решения, принятого не тобой» и «воздух между людьми, который знает раньше слов».

Пальцы похолодели чуть сильнее, чем того требовала

обычная сырость вагона. Я захлопнул блокнот и твёрдо сказал себе (про себя, конечно): «Чушь. Устал, пишу на автопилоте, забываю собственный почерк — вот и всё объяснение». Блокноты не пишут сами себя, это не Гофман. Отмахнулся от этой мысли, как от назойливого комара, и вернулся к своему «подземному этнографическому промыслу».

Вагон вздрогнул на стыке рельсов, качнулся всем своим железным телом. Я прикрыл глаза и вдруг перестал слышать объявления и чужие разговоры. Вместо них застучали колёса — тот самый южный плацкартный ритм, что десять лет назад отбивал такт моей жизни между южными степями и вечно ускользающей Москвой.

И тут меня осенило: деньги не пахнут — это старая мудрость. А вот их отсутствие пахнет чрезвычайно отчётливо. Страх пахнет застарелым потом под пиджаком, валерьянкой из-за открытых счетов и даже сладковатой карамельной ноткой — будто паника решила притвориться чем-то безобидным. Курс доллара по телевизору можно нарисовать любой, а воздух врать не умеет. Если хотите узнать глубину кризиса — не смотрите биржевые сводки. Просто закройте глаза и вдохните.

На «Комсомольской» двери разъехались с тем особым чмоканьем, каким метро приветствует пассажиров трёх вокзалов сразу. В вагон вошёл мужчина в дорогом пальто — месяц назад я бы автоматически записал его в касту небожителей, спускающихся под землю разве что из спортивного лю-

бопытства. Пальто было из того сорта, который не продают на рынке: драп плотный, подкладка шёлковая. Но выглядело оно так, будто в нём спали последние сутки: лацкан заломился, на плече темнело загадочное влажное пятно (я благодарно не стал строить догадки о его происхождении).

Он держался за поручень так, будто это последняя опора в жизни. От него тянуло дорогим парфюмом с сандалом, но из-под него пробивался совсем другой аромат — резкий, кисловатый, почти звериный. Так пахнет заяц, за которым долго гонятся. Так пахнет школьник перед контрольной, к которой не готовился.

Рядом завозилась старушка в вязаном берете горчичного цвета — из тех, что всю жизнь простояли в очередях за чем угодно, от сахара до справедливости. Она мелко перекрестилась, глядя в пустой угол вагона, и забормотала:

— Опять всё отберут, ей-богу, опять... Сберкнижку тоже небось спишут, как в девяносто первом...

От неё пахло нафталином, валокордином и слежавшейся мукой из шкафа. Её страх был не свежим, а привычным, обжитым — как старое пальто, которое носишь двадцать лет и уже знаешь, где жмёт. Для неё нынешний кризис был не катастрофой, а очередным визитом неприятного дальнего родственника: не выгонишь, но и удивляться уже нечему.

Вагон качнуло на повороте. И тут я понял с той отчётливостью, которая бывает только в тесном, душном вагоне: метро фиксировало кризис куда быстрее любых биржевых сводок.

Курс доллара ещё только собирался прыгнуть в вечерних новостях, а здесь, среди запахов сандала, нафталина и чистого животного страха, кризис уже случился, был прожит и переварен — ещё до того, как о нём успели объявить с трибуны.

Придя в общагу, я ощутил тот самый родной запах, который я давно перестал замечать, а потом снова начал, стоило день продержаться на свежем воздухе: варёная картошка с общей кухни, чья-то туалетная вода за тонкой стеной, сырость линолеума в коридоре (вечно кто-то разливал чай — будто это был обязательный ритуал).

Я включил настольную лампу, отгородил себе круг жёлтого света и достал блокнот. Чувствовал себя то ли бухгалтером, то ли алхимиком: свожу баланс невидимых величин и пытаюсь превратить запахи в научную систему. Идея, что весь вечер крутилась в голове, требовала оформления: «запах кризиса» — отдельной графой в реестре, рядом с «запахом лжи» и «запахом усталости».

Перевернул страницу и споткнулся на полуслове. Исписанных страниц было куда больше, чем я помнил. Пролистал назад и наткнулся на абзацы, которых совершенно не помнил: подробное до занудства описание запаха в переходе на «Курской», три строки про то, как отличается усталость чиновника средней руки от усталости грузчика. Очень толково изложено — прямо кандидатская по ольфакторной социологии.

А на полях стояла фраза, вписанная другими, чуть более светлыми чернилами: «Скоро кто-то объяснит, зачем тебе это нюхать». Я перечитал её трижды, надеясь, что она вдруг превратится в безобидную шутку. Но фраза упрямо оставалась той же: короткой и оттого особенно неприятной, как записка от незнакомца, который знает про тебя больше, чем ты сам.

— Так, — сказал я вслух, обращаясь то ли к блокноту, то ли к пустой комнате, — приплыли. Зюскинда на ночь читать вредно, comrades. Особенно если неделю толком не спал.

Шутка не вышла смешной ни на грош. Обычно я умею рассмешить себя даже в самых унылых обстоятельствах — горжусь этим как провинциальной закалкой оптимизма. Сейчас же фраза повисла в комнате, как несвежий запах: выветривать бесполезно, остаётся только ждать, пока сама осядет на дно памяти.

Закрыв блокнот, придавив обложку ладонью чуть сильнее, чем следовало, — словно боялся, что страницы начнут шелестеть и дописывать что-то сами. Убрал его в верхний ящик стола, туда же, где лежали конспекты и просроченный проездной. Будто соседство с казёнными бумагами могло его умирить и вернуть в разряд обычных вещей.

Утро было таким же серым, как и все последние. Я спускался на «Щёлковской» с видом браконьера, который идёт не за грибами, а по грибным местам — с корзиной, с планом и с лёгкой надеждой на удачу. Только моей добычей были

не лисички, а запахи. Ноздри сами собой раскрылись ещё на эскалаторе — будто отдельный автономный орган, который вообще не спрашивает у меня разрешения.

Толпа текла навстречу и вбок. Но я уже не видел просто людей — я их нюхал. Дама в куртке с потёртым меховым воротником пахла валерьянкой и духами из прошлой жизни — они сидели на ней криво, как одолженный костюм, который великоват в плечах. Парень в спортивке веял вчерашним портвейном пополам с надеждой. Эту смесь я теперь узнавал с полувдоха.

Кризис к концу октября стал частью пейзажа — вроде цвета плитки на «Комсомольской»: заметили, привыкли, перестали замечать. Запах тревоги, который в сентябре шибал в нос, как подгоревшее молоко, теперь растворился в общем фоне подземки. Его стало труднее выделить, чем соль в супе, который варится третий день. Город привык к кризису быстрее меня — так привыкают к затяжному дождю: перестают доставать зонт и просто ходят мокрыми, делая вид, что так и задумано.

Стоя на платформе, я вдруг поймал себя не на мысли «чем пахнет этот человек», а на куда более странной: «чего здесь пока не пахнет». Мысль была настолько нелогичной, что я почти собрался устыдиться, но стыд не пришёл. Вместо него появилось предчувствие — липкое, настойчивое, как перед грозой, когда воздух густеет, а птицы замолкают. Мне казалось, что среди всех этих запахов скоро появится кто-то со-

всем другой — тот, чей запах не встанет ни в графу «страх», ни в графу «спокойствие», потому что для него в моём блоке ещё не расчерчена отдельная колонка.

Двери разошлись с привычным металлическим кряком, и толпа втянула меня внутрь, как течение. Я привычно потянул носом: перегар, хозяйственное мыло, мокрый плащ — всё как всегда. Но на этот раз обычный набор запахов не разочаровал, а подстегнул — как разминка перед забегом. Наверное, потому что я ждал не сходства, а сбоя: одной-единственной ноты не в тон.

Поезд тронулся в темноту тоннеля. Я держался за поручень и вместо привычной осенней тревоги вдруг почувствовал почти забытое — азарт. Детский, ничем не оправданный, такой, с каким ранним утром бегал смотреть на рассвет над степью, точно зная, что ничего нового не увижу, но величие солнца притягивало.

Тоннель за окном чернел равномерно, без единого про света. Глядя в это чёрное стекло, я увидел своё отражение — с тем самым выражением лица, какое бывает у человека, который вот-вот что-то унюхает.

Глава 4. Незнакомец в вагоне

Весна кризиса проскочила незаметно — как тот самый сквозняк, который вроде был, а оглянешься — и нет его. И остаётся только странное чувство: будто тебя слегка обокрали, а ты всё никак не можешь сообразить, чего не хватает.

За окном мелькнул апрельский свет — он пробивался сквозь решётки на «Воробьёвых горах», и поезд на пару секунд выныривал из темноты, будто утка, которой жизненно важно убедиться, что мир ещё существует, и тут же нырнуть обратно.

Стоя у дверей, я думал, что кисломолочный запах осеннего страха никуда не делся — просто перестал быть общим бедствием, разлитым по вагону, как дурной аромат в коммунальной кухне, и осел в мелочах: в швах потёртого пальто, в подкладке барсетки, которую мужчина сжимал обеими руками, будто она могла сбежать. Кризис из стихийного бедствия превратился в личную биографию.

Блокнот лежал во внутреннем кармане. Я его не доставал, но мысленно листал, как знакомую книгу в темноте. Где-то между записями про запах гречки и про парочку, целовавшуюся у турникетов так, что от них веяло счастьем и одеколоном в равных долях, пряталась фраза чужим почерком: «Скоро кто-то объяснит, зачем тебе это нюхать». Я натыкался на неё уже раз десять, каждый раз слегка вздрагивал и

убеждал себя, что просто накарябал её спросонок, пока рука проснулась раньше головы. Звучало неубедительно даже для меня.

На станции «Парк Культуры» вагон жадно заглотил новую порцию пассажиров, и меня привычно притёрло к чьему-то плечу в болоньевой куртке. От неё пахло табаком и... репеллентом. Для апреля рановато, но люди любят готовиться к лету заранее — видимо, чтобы лето, увидев такую решимость, побоялось не наступить.

Коротко потянув носом, я постарался выглядеть не как охотничья собака, взявшая след, а как человек, который просто глубоко дышит ради здоровья. Не уверен, что получалось убедительно. Но что поделать: за эти месяцы мой нос превратился в требовательного коллегу, который не спрашивает разрешения, а просто берёт управление на себя.

И вот среди табака и репеллента вдруг всплыло воспоминание из детства: фабрика, на которой работал отец. Там пахло карбидом, щёлочью и мокрым металлом. Отец приносил этот запах домой на куртке, и мать вывешивала её на балкон, а не в шкаф — чтобы к утру ароматы развеялись.

Воспоминание лопнуло, как пузырь: поезд дёрнулся перед «Октябрьской», толпа качнулась вперёд, и меня вынесло из детства обратно в вагон — к чужим локтям, репелленту и мысли, что весна за окном, сколько её ни жди, никогда не пахнет так, как пахнет надежда на неё зимой.

На «Октябрьской» двери распахнулись с тем протяжным

вздохом, с каким открывается холодильник, простоявший закрытым с прошлой зимы. Вместе со сквозняком и запахом мокрого асфальта в вагон вошёл человек и сел прямо напротив меня — хотя свободных мест хватало.

Возраст его я бы не взялся угадать даже под присягой: не то сорок, не то шестьдесят. Лицо смутно знакомое — будто видел его во сне, но утром не смог вспомнить, о чём вообще был тот сон. На нём был длинный серый плащ — кажется, из тех, что носили ещё в семидесятых, и явно не по сезону. Плащ выглядел так, будто его сняли с гвоздя после многолетней зимовки в шкафу, куда не заглядывали со времён, когда диско было в моде. Пуговицы на нём были разные — я это сразу заметил. Профессионально цепляюсь взглядом за детали: привычка из детства.

Потянул носом — уже по привычке. И ничего. Ну, то есть не совсем ничего, но из моего драгоценного метрошного реестра запахов там не было решительно ничего. Ни перегара, ни сладковатой вони немытого тела, ни дешёвого одеколona, ни дорогого с кожанно-древесной нотой. От него тянуло разве что пылью из закрытого шкафа — стерильной, будто её пропустили через фильтр. Как будто у человека был обычный запах, но кто-то заботливо процедил его через марлю, оставив только призрак.

От такого «отсутствия» мне стало не по себе сильнее, чем от любой самой едкой вони. Пахнущий человек вписывается в систему координат: тут нищета, там похмелье, здесь вче-

рашний праздник. А непахнувший выпадал из системы совсем, как переменная, которую забыли подставить в уравнение.

Он сидел неподвижно, положив руки на колени — не как уставший человек, а как модель на портрете, которую художник вот-вот начнёт рисовать. Смотрел вроде бы в пол, а может, и вовсе в никуда. Но у меня с первой секунды возникло отчётливое ощущение, что он смотрит на меня каким-то внутренним зрением — будто у него есть третий глаз, и он обращён прямо внутрь меня.

Это было настолько неприятно, что я поспешно перевёл взгляд на рекламный плакат про кредит без справок и поручителей. На нём чересчур счастливая семья улыбалась так, будто выиграла в лотерею, а не получила одобрение займа. Я знал этот плакат наизусть, вплоть до опечатки в слове «выгодные», и всё равно вцепился в него взглядом, как утопающий в соломинку. Только бы не смотреть на человека без запаха.

Но кожей, затылком, тем самым местом на шее, куда особенно больно впивается чужой взгляд, я продолжал чувствовать его внимание. Оно становилось плотнее с каждой станцией — будто он изучал меня методично, как энтомолог рассматривает жука, ещё не решив, стоит ли накалывать его на булавку.

Поезд качнуло на повороте, кто-то ойкнул, схватившись за поручень, — обычная вагонная суета шла своим чередом.

Но между мной и этим человеком будто образовалось отдельное, беззвучное пространство, куда не долетали ни толчки состава, ни объявления станций, ни запах табака и репеллента. Только моё нарастающее чувство, что вот сейчас случится что-то, ради чего, собственно, и затевалась вся эта поездка.

В ту секунду в голове всплыла кривая вывеска «Наши ароматы» на станции Николаев и отец в спецовке, пахнувшей карбидом и мокрой известью. Я, пятилетний, зажимаю нос и требую немедленно идти мыться, а он смеётся: «Это запах денег, сынок. Другого у нас не водится». Мысль вынырнула, как поплавок, и ровно в тот же миг человек напротив усмехнулся — коротко, одним углом рта, словно услышал тот самый анекдот, который уже раз пятнадцать слышал, но всё равно смешно.

«Совпадение, — торопливо подумал я. — Обычный тик. Может, он вспомнил, как в детстве не любил манку». Объяснение вышло гладким, почти протокольным, но я себе не поверил ни на грош. Усмешка была слишком точной. Слишком вовремя.

Человек чуть повернул голову — буквально на пару градусов, будто настраивал антенну. И в этот миг мне вдруг почудилось, что от него пахнуло карбидом. Тем самым резким запахом старых ацетиленовых горелок, следом — сырой известковой прохладой, будто открыли подвал, который десять лет стоял без вентиляции. Запах моего детства, запах отцов-

ской спецовки. Букет пронёсся так быстро, что я не успел даже понять: то ли он был, то ли я сам его дорисовал, как дорисовывают в облаке слона, если очень хочется его увидеть.

Я нарочно принюхался, задержал дыхание, потом резко выдохнул — старый диггерский приём, чтобы проверить, не подводит ли нюх. Но в вагоне пахло исключительно вагоном: перегаром, мокрой болоньей, металлом поручня, нагретым сотнями рук. Никакой извести. Никакого карбида. Если запах и был, он испарился без следа.

Пальцы сами собой вцепились в лямку сумки, где лежал блокнот в клеёнчатой обложке. И накатило совершенно детский страх: а вдруг этот человек умеет читать не только мысли, но и страницы? Вдруг он увидит все эти записи про кислый запах страха, сладкую плотность самодовольства и ту самую приписку на полях, которую я точно не писал?

Я вцепился в лямку крепче, будто сумка могла стать бронёй, если держаться посильнее. В этот момент поезд начал притормаживать, колёса заскрежетали на стыках, и человек напротив медленно, почти торжественно поднял глаза — не в пол, а прямо на меня.

— Вы принохиваетесь, — сказал он, не меняя позы, словно подхватывал фразу, которую я сам оборвал где-то на середине, ещё на прошлой станции. — Как будто ищите что-то конкретное.

Голос у него был ровный, без нажима — из тех, что идеально подходят для прогноза погоды: никаких эмоций, ника-

кого личного участия, и всё же невозможно было усомниться, что сказано это лично мне.

— Да тут душно просто, — выдавил я и сам поморщился от того, как фальшиво прозвучал мой фирменный иронический регистр. — Вагон старый, вентиляция не тянет... вот и принимаюсь — ищу, откуда тянет сквозняком.

На слове «сквозняком» голос предательски сорвался, по-мальчишески, по-детски. Ещё недавно я гордился своей невозмутимостью: мог хладнокровно заносить в блокнот любую вагонную вонь, будто эксперт-нюхач с удостоверением санэпидстанции и стажем в сто лет. Сейчас от этой невозмутимости не осталось и следа — только сухость во рту и предательское тепло, разливающееся по шее, как пролитый чай.

Человек чуть склонил голову набок — так собака прислушивается к странному звуку, не торопясь ни соглашаться, ни спорить, а просто фиксируя факт.

— Пахнут не только тела, — произнёс он буднично. — Пахнут ещё мысли. И те, кого не видно.

После этих слов реальность окружающего вдруг вернулась ко мне в полном составе. Механический женский голос объявил следующую станцию, и весь этот привычный вагонный шум навалился разом, так плотно, что на секунду я засомневался: а услышал ли я эти слова вообще или сам их додумал?

Но фраза была. Я физически почувствовал, как она проходит мимо привычной части сознания, которая всё раскладывает по полочкам, и попадает куда-то глубже — туда, где

хранились те несколько недель моей жизни, о которых я старался не думать даже наедине с собой.

Мне хотелось спросить прямо: «Откуда вы знаете про мысли, про блокнот, про приписку, которую я никому не показывал?» Вопрос стоял в горле целиком, сформулированный, готовый к употреблению. Я даже рот открыл, чтобы его выдать, — и вместо этого вырвалось совсем другое, жалкое и растерянное:

— В каком смысле?

Он смотрел на меня тем самым ровным, изучающим взглядом, каким смотрят на образец в чашке Петри: вырастет колония или нет — вопрос времени и терпения. В этом молчании было что-то нечеловечески терпеливое, и я вдруг с неприятной ясностью понял: для него это вовсе не случайный разговор двух попутчиков. Это какая-то процедура, которую он проделывал уже не раз, а я — очередной пункт в списке.

Поезд наконец дёрнулся и замер. Двери с шипением разошлись, впуслав волну перронного сквозняка, пахнущего креозотом и чужими куртками. Я вцепился в лямку так, что побелели костяшки, и ждал — не выхода своей станции, а продолжения.

— Вы кто вообще такой? — вырвалось у меня не в том порядке, в каком я этот вопрос репетировал в голове. — И откуда вы знаете про блокнот? Я его никому не показывал! А вы сейчас говорите вещи, которые я даже себе боюсь фор-

мулировать...

Он помолчал ровно столько, чтобы я успел мысленно выдать себе выговор за несдержанность, а потом спокойно, будто спрашивал, который час, произнёс:

— Чем пахло, когда ты в детстве в первый раз понял, что опаздываешь в школу?

Я замер. Вопрос был настолько не в тему, что я сперва даже не понял, о чём речь. А потом по спине прокатилась та самая «волна из плохих романов» — и я вспомнил: мокрый асфальт после дождя, прелые тополиные почки во дворе дома и — вот ведь нелепость — запах подгоревшей манной каши из соседского окна. Я тогда стоял на крыльце, разрываясь между маршрутом через дворы и через мост, и уже понимал, что опаздываю. От этого понимания живот скручивало не хуже, чем от самой каши.

А ведь я никому про эту кашу не рассказывал. Даже не думал, что помню её. А она сидела там, целая и невредимая, со всеми своими ароматами. И этот человек знал про неё раньше, чем я успел бы произнести хоть слово.

Меня бросило в жар, а через секунду — в холод, от которого даже зубы заломило. Ощущение было такое, будто меня не слушают, а... нюхают. Причём не носом, а каким-то внутренним радаром, считывающим воспоминания прямо с лица, как штрихкод с этикетки.

Пока я выстраивал шаткую конструкцию из совпадений и статистики, нос сам собой сделал то, от чего я уже давно

не мог избавиться: я машинально принял к незнакомцу. И вся моя статистика рассыпалась, как карточный домик от сквозняка.

От него не пахло ничем. Вообще. Не «нейтрально», не «свежим мылом», а буквально — пустотой. Как будто кто-то вырезал ножницами круг из полотна вагонных запахов и вставил туда дыру.

Поезд дрогнул, качнув нас обоих. Состав уже сбавлял ход, и меня будто окатило ледяной водой изнутри: сейчас он встанет и выйдет, и я так и не узнаю ничего, кроме того, что в мире существуют люди без запаха и кто-то, кто помнит вкус подгоревшей каши двадцатилетней давности.

— Подождите, — сказал я, и голос у меня дрогнул совершенно по-детски. — Вы же ещё не сказали...

Он уже стоял. Поднялся с той же необъяснимой плавностью, с какой садился, — без толчка, без рывка, без обычного человеческого кряхтения. Будто просто перестал сидеть, и всё. Разговор для него уже закончился где-то на середине, хотя мне казалось, что мы едва добрались до вступления.

Двери готовились открыться через несколько секунд. Рука моя сделала то, что делает рука, когда голова ещё соображает, что ей делать не следует: я схватил его за рукав. Ткань под пальцами была странная — не шерсть, не синтетика, ничего конкретного, будто я вцепился в кусок вечернего воздуха, который просто по недосмотру принял форму пальто.

— Хоть имя, — выдавил я. — Или где вас искать. Я же

теперь не смогу спать спокойно! Вы сказали, у мыслей есть запах, у тех, кого не видно, есть запах, и просто встали и пошли, как будто это была реплика про погоду!

Двери разъехались. В проём хлынул сквозняк перрона — вечная гремучая смесь креозота, чужого табака и того особого металлического холода, которым пахнут все подземные пространства мира.

Незнакомец не обернулся до конца, только вполоборота, и я успел увидеть краем глаза профиль без единой примечательной черты — из тех лиц, которые забываешь в ту же секунду, как отвёл взгляд.

— Вы уже знаете, где меня искать, — сказал он спокойно. — Принюхайтесь.

И вышел.

В какую сторону он пошёл я заметить не успел, потому что в тот момент моё внимание разделилось на два потока, и один из них зафиксировал невозможное: запах остался. Он остался ровно там, где стоял человек, — тот самый обонятельный вакуум, дыра в полотне вечернего перегара. Секунду, может, две. Я даже успел подумать: «Вот доказательство, вот то самое, что я запишу в блокнот и наконец пойму, что не схожу с ума». А потом дыра истаяла — не рассеялась, а просто перестала быть, будто кто-то щёлкнул выключателем в той части моего восприятия, которая её улавливала.

Двери сомкнулись, вагон дёрнулся, и знакомая толчея перегара, чужих курток, креозота и мокрой шерсти хлынула

обратно в то место, которое секунду назад было исключением из всех правил.

Я стоял, вцепившись в поручень уже без всякой необходимости, и судорожно перебирал каждое сказанное слово, боясь, что к утру всё это превратится в кашу — как манная каша из детства, которую он так походя, так по-хозяйски достал из моей памяти.

Принюхайтесь, сказал он. Как будто я и без него этого не делал последние два года каждый божий день. Как будто это было простой рекомендацией, а не приговором.

Поезд набрал ход, огни тоннеля замелькали за стеклом ровными полосами, и я понял с той окончательностью, с какой понимаешь диагноз, а не прогноз погоды: теперь я буду искать этот несуществующий запах в каждом вагоне, в каждой станции, в каждом человеке, сажающемся рядом со мной.

Глава 5. Уроки нюха

Третий день подряд я мотался по метро, выписывая такие петли, что навигатор бы заплакал. «Щёлковская» — «Площадь Революции» — «Курская» — и дальше по кругу, будто участвовал в чемпионате по запутыванию маршрута. Одна половина меня рвалась к знаниям, вторая упорно терялась в лабиринте эскалаторов.

Учебные пары я, конечно, прогуливал. Наталья Егоровна, наш куратор, наверняка уже обвела моё имя в списке кандидатов на отчисление красным маркером — да так жирно, что бумага, наверное, прорвалась. Попробуй тут объясни: «Не пью, не гуляю, просто ищу человека без запаха». Звучит как оправдание для комикса, а не для деканата.

Все это время я пытался восстановить тот самый маршрут с упорством, достойным куда более полезных дел. Вроде синяя ветка, вагон четвёртый или пятый, стою у вторых от края дверей... Но на этом «вроде» вся моя детективная карьера и рушилась: за два года все вагоны слились в один бесконечный, а двери — в одни-единственные. Найти тот самый вечер среди сотни одинаковых было всё равно что выцепить из сугроба конкретную снежинку и ещё подписать её: «Вот эта, точно она».

К концу третьего дня странности заметил не только я — их заметили и окружающие. Я принимался к людям.

Не деликатно, по-человечески, а в полный рост: подбородок вверх, голова набок — прямо охотничья собака, только след брала не на колбасу, а на отсутствие запаха.

На «Новокузнецкой» дама в синем пальто отодвинулась на полшага и до самой «Павелецкой» держала сумку перед собой, как щит. Парень в наушниках хмыкнул и дёрнул плечом — видимо, решил, что я из тех, кто нюхает пакеты с клеем. Только я нюхал воздух вокруг живых людей, что, если подумать, выглядело даже подозрительнее.

— Вы что-то ищете? — однажды спросила бабуля, сочувственно глядя на меня. Видимо, я слишком усердно дышал ей в затылок.

К вечеру я уже всерьёз прикидывал, к какому психиатру записаться, если дело дойдёт до крайности, и какую статью мне подберут для списания с военной кафедры. Человек без запаха, который знает про подгоревшую манную кашу (а от одного слова «манка» меня до сих пор передёргивает) — это готовый сюжет для истории болезни.

Но был блокнот. Клеёночная обложка, потрёпанный сгиб, страницы с моим кривым почерком. На одной из последних чёрным по белому: «Манная каша, подгоревшая, страх опоздать в школу». Я перечитывал эту строчку раз десять, каждый раз надеясь, что это просто случайная ассоциация. Но чернила были мои, почерк был мой, а тайна — совсем не моя.

На четвёртый день на «Третьяковской» в утренний час

пик, когда толпа пахла мокрыми куртками и вчерашним куревом, я вдруг почувствовал провал — будто кто-то вырезал кусок обонятельного полотна и поленился зашить края. Я крался за ним, как охотник, который вместо следов на снегу читает их отсутствие. Толпа сомкнулась, провал нырнул в неё и исчез. А я остался стоять, жадно глотая воздух, забитый чужим одеколоном и перегаром, — словно кто-то устроил подземную выставку «Ароматы больших дел».

На скамейке в самом конце платформы сидел он. Лицо у него было такое, что забывалось между морганиями. Зато провал рядом с ним сидел смирно, спокойный, как воронка в реке, которая уже никуда не торопится.

— Наконец-то, — сказал он вместо приветствия. В этом «наконец-то» слышалась та самая интонация, с какой мама встречала меня из школы, если я задерживался у ларька с чебуреками.

Я сел рядом — не от большого желания, а потому что ноги вдруг вспомнили, что они устали.

— Кто вы такой? Откуда вы знаете про кашу? Я никому не рассказывал, даже маме, которая её и варила! Это розыгрыш? Скрытая камера? Передача про доверчивых студентов?

Он выслушал этот словесный шквал с видом человека, который привык к шуму поезда. Потом качнул головой.

— Понюхайте воздух, — сказал он. — Вот здесь, где сидим. Скажите, что чувствуете?

Во мне вскипела злость: три дня ищу разгадку, а мне вместо ответа дают домашнее задание.

— Я задал конкретные вопросы.

— Понюхайте, — повторил он с терпеливостью воспитательницы, которая раз за разом говорит упрямому карапузу «не толкайся».

Аккуратно закрыв рот, я вдохнул. Назло, скорее: хотел доказать, что тут нет ничего особенного. Обычный воздух подземки: креозот, металлическая пыль, озон, чей-то табак, чей-то чеснок с обеда... Стандартный набор ароматов большого города.

Уже собирался повернуться и сказать «ну и что», как вдруг уловил ещё один слой — тонкий, будто отдельная нота в оркестре, которую раньше заглушала вся медь. Что-то сладковатое и тревожное, с лёгкой горчинкой. И когда я наконец подобрал сравнение, меня передёрнуло: похоже на запах намокшей штукатурки перед тем, как она обрушится.

— Там что-то... Штукатурка. Мокрая. Которая вот-вот упадёт. Только тут нет никакой штукатурки, одни рельсы.

Незнакомец чуть дёрнул уголком рта — будто преподаватель увидел, как нерадивый студент вдруг выдал правильный ответ.

— Уже кое-что, — сказал он. — Большинство людей не различают этого до старости.

— Что это было?

— Запах, — произнёс он медленно, взвешивая слова, как

аптекарь — опасный реагент, — это память будущего. Только вывернутая наизнанку.

И, не дав мне ни секунды на переваривание, поднялся и шагнул в толпу, снова превращаясь в движущийся провал среди голов. А я остался сидеть на холодной скамейке с раскрытым ртом и ощущением, что мир только что чуть сдвинулся под ногами — как эскалатор, который вдруг дернулся сильнее обычного.

Я потянулся вслед, забыв про всякое достоинство, схватил воздух рукой, будто мог поймать его за рукав серого пальто.

— Подождите. Так нельзя. Вы бросаете мне фразы, как ребусы из «Мурзилки», а объяснить по-человечески не хотите?

Он остановился, будто взвешивал, стоит ли эта просьба его внимания.

— Объяснить... — пробуя слово на вкус. — Вы играете на пианино?

— Немного. В детстве заставляли.

— Тогда вы должны помнить, как это было, пока вы не знали нот. Слушали — и слышали музыку целиком, как воздух, как погоду. А потом вам объяснили, что вот это вот — одна восьмая, а вот эта вот — четвертная с точкой, и с того дня вы уже никогда не слышали музыку целиком. Появился счет.

Я хотел возразить, но он уже махнул подбородком куда-то вбок.

— Вот. Женщина в синем пальто. Что вы чувствуете?
Я послушно втянул воздух.

— Сирень какая-то, дешёвая. Пот. Металл — ключи в кармане звенят. Обычный человек в обычный вечер.

Он покачал головой, медленно, с усталостью экзаменатора, который слышал этот неправильный ответ уже тысячу раз.

— Вы нюхаете тело. А я спросил про завтра, про будущее.

— Простите, я не Нострадамус. По запаху могу сказать, что она ела на обед, но не что с ней случится в четверг.

— Не в четверг. Через минуту. Закройте глаза.

Мне хотелось послать его к чёрту, но что-то в его тоне заставило меня послушаться. Я закрыл глаза. Первую секунду был только тот же букет. Но я добросовестно попытался «пройти сквозь», как он сказал, и на самой границе восприятия поймал нечто отдельное: резкое, короткое, металлическое — не запах ключей, а другое, похожее на вкус крови на разбитой губе, только через нос. Оно длилось меньше секунды и пропало, как искра от закорачивающего провода.

Я открыл глаза, и меня слегка качнуло.

— Было что-то. Что-то как... кровь. Металл во рту. Секунду и всё.

— Хорошо, — сказал он тем же тоном, каким ставят тройку без плюса.

Женщина в синем пальто подошла к эскалатору и оступилась: нога соскользнула на металлической кромке, сумка

мотнулась в сторону, и она на долю секунды повисла над убегающими ступенями. Рядом стоящий парень в наушниках рефлекторно подхватил её под локоть. Через секунду она уже стояла, бледная, и виновато что-то бормотала и прижимала рукой губу.

У меня во рту стало сухо, будто это я едва не упал.

— Это же... совпадение. Просто нелепое совпадение. Эскалаторы старые, ступени разболтаны, я сам чуть не падал так раз в неделю.

Он посмотрел на меня без удивления — так смотрит человек, который слышал уже все возможные варианты рационализации.

— Не совпадение, — сказал он буднично, будто речь шла о расписании поездов. — Опоздание.

— Замечательно, — буркнул я. — В следующий раз, может, научите меня чують невыигрышные лотерейные билеты — будет полезнее для бюджета.

Он не улыбнулся.

— Это был наглядный этюд о запахе будущего. Но вам важнее научиться чувствовать тех, кого не видно.

— У них есть запах, — сказал он, точно и не заметил моей реплики. — У тех, кого не видно. Просто человеческий нос слышит его не как запах, а как отсутствие запаха. Как дыру.

— То есть я должен искать не вонь, а её нехватку, — проговорил я скорее себе. — Звучит как загадка про хлопок одной ладонью.

— Настоящая пустота пахнет холодным металлом и озоном. Как перед грозой, только без грозы. Если знаете, куда смотреть носом.

Тут меня будто окатило чем-то ледяным изнутри. Я вспомнил ту секунду при нашей первой встрече: вокруг него не было вообще ничего — ни пота, ни одеколona, ни табака. Только чистая обонятельная пустота.

— Стойте, — голос сорвался чуть выше, чем хотелось. — Когда мы встретились в первый раз, от вас вообще ничем не пахло. Просто дырой.

Он не ответил сразу, и в этой паузе было больше, чем в любом ответе.

— Вы — один из них?

Незнакомец посмотрел на меня как на студента, который задал вопрос не по теме экзаменационного билета.

— В следующий раз, когда почувствуете нечто неправильное, не убегайте. Задержите дыхание. На пару секунд, не дольше. И запомните направление, откуда шло.

— А если это будет прямо у меня за спиной?

— Тогда вам повезло меньше, чем большинству, — ответил он без всякого сочувствия, как констатируют факт вроде расписания электричек.

Поезд вынырнул из тоннеля с тем гулом, который сейчас отозвался в груди как предупреждение. Незнакомец слегка склонил голову, будто вслушиваясь во что-то за пределами моего восприятия, и шагнул к дверям вагона.

— Вопрос про то, кто я, вы себе ещё зададите. Не сейчас.

Двери зашипели, закрываясь, и он остался стоять внутри, за стеклом, а я на платформе — с ощущением, что мне только что дали недостроенную карту без единого названия улиц.

Он исчез буднично — без всяких театральных эффектов. Просто двери разъехались, толпа схлынула, а когда вернулась — его уже не было. Я даже не уловил момент ухода: будто он умел растворяться в промежутке между вдохами.

Войдя в следующий вагон с видом серьёзного экспериментатора, я сел у окна и принялся раскладывать запахи по слоям, как дегустатор, который крутит бокал и бормочет про танины. Слой первый — перегар с отчаянной ноткой жвачки. Слой второй — тёплая резина уплотнителей. Слой третий — дешёвый парфюм, от которого через час хочется бежать на другую планету.

Минут пять я скурпулезно выискивал хоть что-то выбивающееся из этой пахучей симфонии. Но перегар оставался просто перегаром, резина — резиной, а парфюм — тем самым парфюмом, который вскоре вышел вместе со своей хозяйкой.

Невольно нахлынуло чувство, что меня просто изящно троллят. Может, вся эта история с дыханием и направлениями — способ занять любопытного студента, пока незнакомец спокойно занимается своими таинственными делами. А может, никакого озона и металла и вовсе не существовало: просто моя фантазия, разогретая чтением Зюскинда, теперь

норовила найти мистику в каждом чихе подземки.

С этой мыслью я почти успокоился, откинулся на спинку и стал смотреть, как за окном мелькает чернота тоннеля, изредка прорезаемая тусклыми лампами — будто редкие зубы в беззубом рту.

На следующей станции двери разъехались с привычным шипением, но в вагон никто не вошёл. Именно в эту паузу пустого вагона я его и поймал.

Холод пришёл не через нос, а будто сначала по коже — вдоль позвоночника, а потом уже оформился в запах: ледяной металл, гальванический, с тем самым озоновым оттенком. Ровно то, о чём говорил незнакомец, — слово в слово. От такой точности мне стало не по себе даже сильнее, чем от самого запаха.

Запах не плыл, как обычные ароматы, а двигался дискретными толчками — будто кто-то невидимый делал шаг, потом ещё шаг, и с каждым шагом холодная нота оказывалась чуть ближе. Он смещался вдоль вагона, не от людей и не от пола, а так, будто у него был рост, направление и цель.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.